



А. И. СОЛЖЕНИЦЫН

Ленин в Цюрихе

<Из Узла I «Август четырнадцатого»>

<...>

Но и с тех пор неделя в Поронине после тюрьмы совсем не оказалась спокойной. Что можно было втолковать австрийскому канцлеру и слабоумным австрийским аристократам, того не могли понять галицийские мужики, тупые, как все мужики в мире — в Европе ли, в Азии, в Алакаевке. В глазах поронинских дремучих жителей этот иностранец, хоть и освобождённый, всё равно оставался теперь — шпионом! Поразительно! Непостижимо! Шли из костёла крестьянки и, сами ли по себе или увидя Надю и для неё, расшумелись на всю улицу, что коли начальство отпустило, так они *сами выколят ему глаза! сами вырежут ему язык!*.. Надя пришла домой бледная, вся тряслась. И испуг её — передавался, захватывал: а что? — и выколют, ничего удивительного. А что? — и вырежут, ничего невозможного! Очень просто: придут с вилами и ножами... Такой колоссальной опасности не подвергался Ленин никогда за всю жизнь. Никогда еще ни от кого ему такое не... Да мало ли знает история вспышек престонародной безобразной ярости! От неё нет гарантии даже в цивилизованном государстве, даже в тюрьме безопаснее, чем от тёмной толпы...

Тревожно настраиваться при угрозах — это не паника, это мобилизация.

Так были затемнены и задёрганы последние дни и часы в Поронине. Два года такой безопасный мирный, посёлок как насто-рожился к прыжку. Уже и из дому не выходили, плохо спали, плохо ели, нервно укладывались. Ленин пытался отбирать самое нужное из бумаг и книг, но не владел собой, вникнуть не мог,

да и набралось тут бумажного пудов шестьдесят. (Да ведь только этой весной переехали сюда из Кракова окончательно!)

Да как вообще он мог медлить, оставаться рядом с русской границей?! Тут и казаки налетят — захватят в один момент.

Только сейчас, перед зелёным аккуратным поездом, на платформе, где при жандарме и станционных чиновниках уже никак не могло быть бесконтрольной расправы, — сваливалась тяжесть, наконец. И все веселели. Стояло и утро весёлое, солнечное, без облаков. Не грузили военных грузов, не ехали мобилизованные, перрон и поезд выглядели как в обычное дачное летнее время. Хотя билеты продавали свободно только до Нового Тарга, а до Кракова уже требовалось разрешение полиции.

Оттого вагоны были полупустые. Надя и тёща сидели уже там, выглядывали из окна. Несколько товарищей провожало, стояли под окном. А Владимир Ильич, взявши Якова¹ под руку, снова и снова шли вдоль платформы, оба точно равного невысокого роста, оба широкие, только Ильич от кости, а Куба от жирка.

Когда видишь способность человека на такие дела, следует внимательней прислушиваться и к его словам, какими бы мечтательными они ни казались. Знал Якова давно, со II-го съезда, но по польским делам, а только этим летом он развернулся с новой стороны и стал самым важным человеком. Он вообще был золото: исключительно исполнитель — и обо всём серьёзном замкнут, слова не вытянет никто чужой. В июне и в июле в окрестностях Поронина они всё ходили с ним на прогулки по нагорью и обсуждали его увлекательные финансовые проекты, целый фейерверк. Может быть, из-за своего буржуазного происхождения, Ганецкий имел к денежным делам поразительный нюх и хватку — редкое и выгоднейшее качество для революционера. Он правильно ставил вопрос: деньги — это ноги и руки партии, без денег любая партия беспомощна, одно болтунство. Даже парламентская партия нуждается в больших деньгах — для избирательных кампаний, что же сказать тогда о партии революционной, подпольной, которой надо организовать укрытия, явки, транспорт, *литературу*, оружие и готовить бойцов, и содержать кадры, и в нужный момент совершить переворот?

Да что убеждать! Всем большевикам это было понятно от самого II съезда, от первых шагов самостоятельности: без денег — ни на шаг, деньги решают всё. Первый путь был — выжимать по-

жертвования из русских толстосумов, из Мамонтова, из «пряника» Коновалова, да Савва Морозов² гнал по тысяче в месяц, как раз на содержание Петербургского комитета, но другие отваливали нерегулярно, от купеческого расположения, от интеллигентского сочувствия (Гарин-Михайловский³ дал десять тысяч один раз) — а там снова ходи проси. Верней был путь — брать самим. Где — наследство вымотать, как у фабриканта Шмидта, членам пратии жениться на наследницах, то в уральских горах обмануть банду Лбова — деньги взять у них, а оружия не привезти. То более систематически — развивать *военно-технические средства*: в Финляндии готовились печатать фальшивые деньги, уже Красин водяную бумагу доставал, и для *экс*ов готовил бомбы. *Эксы* пошли исключительно удачно: но на V-м съезде чистоплюйством Плеханова и Мартова запретили их, да остановиться не было сил, и в Тифлисе Камо и Коба триумфально захватили еще 340 тысяч из казны. Но — забылись, голова закружилась, стали хрустящие царские пятисотки менять в Берлине, в Париже, в Стокгольме, надо бы поумеренней, а царское министерство разослало номера, и Литвинов попался, и Сарра Равич попалась в Мюнхене, да неудачно записку послала из тюрьмы, перехватили. Стали искать среди женеvских большевиков, взяли тринадцать, а Карпинского и Семашко упекли бы на срок⁴, если б либералы из парламента не помогли. Но хуже всех, но гаже всех с фальшивой лицемерной подлой своей *принципальностью* раскудахтался Каутский⁵, какая низменная затея: устраивать «социалистический суд» над русскими большевиками и скудоумно велеть *сжигать* полутысячные всеильные банкноты! (Только при одном виде его портрета, святенького седенького старичка в вылупленных очках — челюсть поводит брезгливостью, как взял лягушку в рот.) Вам хорошо, немецкие рабочие богатые, взносы большие, партия легальная, а — нам?? (Да не всё сожгли, конечно, не такие дураки.) И еще потом сгруппили, сделали злобного старика денежным арбитром между большевиками и меньшевиками (не избежать было манёвра объединения, значит и деньги, вроде, объединять, а меньшевики-то голенькие; всего шмидтовского наследства скрыть было нельзя, часть дали Каутскому на арбитраж — так потом, при новом расколе, не хотел большевикам возвращать).

И вот этим летом Ганецкий захватил Ленина проектом: создать в Европе своё коммерческое предприятие или войти партнёром

в уже действующий трест — и пакет прибыли ежемесячно гарантированно передавать партии. И это не было русской маниловщиной, каждый предлагаемый шаг поражал точным расчётом. Не Куба сам придумал, это шло из бегемотской гениальной головы Парвуса⁶, от него письма были Кубе из Константинополя. Когда-то нищий как все социал-демократы, и поехавши в Турцию стачки устраивать, он откровенно теперь писал, что богат, сколько ему надо (по доходившим слухам — сказочно), пришло время обогатиться и партии. Он хорошо писал: для того, чтобы верней всего свергнуть капитализм, надо самим стать капиталистами. Социалисты должны прежде стать капиталистами! Социалисты смеялись, Роза, Клара и Либкнехт выразили Парвусу своё презрение⁷. Но, может быть, поторопились. Против реальной денежной силы Парвуса насмешки вяли.

Отчасти за этими проектами Ганецкого и прохлопали начало войны.

Их же обсуждали и сейчас, в последние минуты. И как связь держать. Да увидятся скоро: вот Зиновьев поедет за Лениным вслед, а там и Ганецкий, как только отпишется от австрийской воинской повинности.

<...>

Никогда никем не сформулированный, существовал непреложный закон революционной борьбы или, может быть, всякого человеческого развития, много раз наблюдал его Ленин: в каждый период выступают, приближаются один-два человека, наиболее единомыслящих именно в данную минуту, наиболее интересных, важных, полезных именно сейчас, вызывающих именно сегодня к наибольшей откровенности, беседам и совместным действиям. Но почти никто из них не способен удержаться в этой позиции, потому что ситуации меняются всякий день, и мы должны диалектически меняться вместе с ними — и даже мгновенно, и даже опережая их, и в этом политический гений! Естественно, что тот, и другой, и третий, попадая в вихрь Ленина, тотчас вовлекаются в его действия, выполняют их в указанный момент с указанной скоростью, всеми средствами, и жертвуя своим личным, — естественно, ибо это делается не для Владимира Ильича, но для властной силы, проявляемой через него, а он — только безошибочный её указатель, всегда точно знающий, что верно лишь сегодня, и даже к вечеру не всегда то, что утром. Но как только эти промежуточные

люди упрямылись, переставали понимать нужность и срочность своего долга, начинали указывать на противоречия своих чувств или на особенности своей личной судьбы, — так же естественно было отвести их с главной дороги, устранить, забыть, а то изругать и проклясть, если требовалось, — но и в этом устранении или проклятии Ленин действовал волей влекущей его силы.

В такой позиции близости-единомыслия затажно держались енисейские ссыльные, но лишь потому, что территориально не было никого ближе. В такой позиции рисовался издали Плеханов, но каким холодным жестоким уроком он отрубил это в несколько встреч. В такой позиции, и даже в опасной недопустимой близости находился годами Мартов. Но сдал и он. (От Мартова горько вошло в опыт навсегда: в человечестве вообще не может быть такого типа отношений — «дружба», вне отношений политических, классовых и материальных.) Был близок Красин — пока делал бомбы. Был близок Богданов, пока добывал для партии финансы, но это отпало, а он, не поняв крутизны, еще претендовал направлять — и сорвался. А тем временем в вихрь втягивались новые верные — Каменев, Зиновьев... Малиновский...⁸

Держался и двигался рядом лишь тот, кто понимал партийное дело правильно и лишь — пока понимал. А миновалась частная срочная задача, и обычно миновалось понимание, и все эти недавние сотрудники оставались безнадежно вращенными в тупую неподвижную землю как придорожные столбики, и отставали, и отрывались, и забывались, а иногда на новом повороте неслись навстречу остро, как уже враги. А были единомышленники, близкие на неделю, на день, на час, на один разговор, одно сообщение, одно поручение — и Ленин искренне отдавал им всю горячность, натиск необходимого дела, — каждому из них, как самому важному человеку в мире, — а через час они уже и отваливались, и забывалось начисто, кто они и зачем. Так показался близким Валентинов⁹, когда приехал первый раз из России, хотя сразу смутил своей тупостью, что какая-то им сделанная слесарная деталь ему, рабочему, даже важней политической борьбы. И это быстро сказало: не хватило у него стойкости против Мартова, а значит? стал всё равно как и меньшевик.

<...>

Шестой и Седьмой годы — еще было совсем не поражение, еще всё общество кипело, вертелось, втягивалось в воронку, Ленин

сидел в Куоккале и ждал, и ждал второй волны. Но вот с Восьмого, когда всю страну захватила реакционная свора, а подполье как будто отсыхало, рабочая жизнь уходила в открытое копошение, в профсоюзы, в страховые кассы, а вслед за подпольем как будто отживала, становилась тепличной и эмиграция... Там — Дума, легальная печать — и каждый эмигрант старался печататься там...

Вот почему — замечательно, что началась война! Это радость, что началась!! Там их сейчас всех зажмут, ликвидаторов, значение легальности резко упадёт, а значение и сила эмиграции, напротив, увеличится! Центр тяжести русской общественной жизни снова переносится в эмиграцию!!

Это всё Ленин оценил еще в Ново-Таргской тюрьме. (Надя! Новый Тарг — проехали? Не заметил.) Уже в камере, побеждая тревогу, не давая личной неудаче заслонить великую всеобщую удачу, он принял в себя и втянул в проработку — всеевропейскую войну. А из всякой проработки в ленинском мозгу рождались готовые лозунги — в создании лозунга для момента и был конечный смысл всякого обдумывания. И еще — в переводе своих доводов на общеупотребительный марксистский язык: на другом не могли его понять сторонники и последователи.

И что отсюда выносилось — после освобождения первому открыл Ганецкому: надо понять, что раз война началась, то не отмахиваться от неё и не останавливать её, но — использовать! Надо переступить через поповское представление, иногда зароненное и в пролетарские головы, что война — несчастье или грех. Лозунг «мир во что бы то ни стало» — поповский лозунг! Какую линию в создавшейся обстановке должны повести революционные демократы всего мира? Прежде всего: необходимо опровергнуть басню, что в поджоге войны виноваты Центральные державы! Антанта будет сейчас прикрываться, что «на нас, невинных, напали». Они даже придумывают, что «для дела демократии» нужно защищать республику рантье. Смять, раздавить это оправдание! Какая разница — кто на кого первый напал? Следует пропагандировать, что виноваты *все правительства* в равной мере. Важно — не «кто виноват?», а — как нам выгоднее использовать эту войну. «Все виноваты» — без этого невозможно вести работу на подрыв царского правительства.

Да это счастливая война! — она принесёт великую пользу международному социализму: одним толчком очистит рабочее

движение от навоза мирной эпохи! Вместо прежнего разделения социалистов на оппортунистов и революционеров, деления неясного, оставляющего лазейки врагам, она переводит международный раскол в полную ясность: на патриотов и антипатриотов. Мы — антипатриоты!

И кончится эта лавочка Интернационала с «объединением» большевиков и меньшевиков! Назначили дальше *мирить* — на венском конгрессе в августе, — а в июле уже пылало пять фронтов! Уж теперь не заикнутся. Теперь зазияла трещина так трещина, уже не помиришь! А в июле как прихватили, прямо клещами за горло: не видим разногласий, достаточных для раскола! присылайте делегацию — мириться! С меньшевистской сволочью мириться! А уж теперь, за кредиты проголосовали — так умер и ваш Интернационал! Теперь уж вам не подняться, мёртвое тело! Еще долго будете корчить из себя живых, но надо вслух объявить: мертвы! На этой Инессинной поездке к вам в Брюссель — последняя наша с вами встреча, хватит!

<...>

Раскручивалось и предчувствие: вот оно, то событие, для которого ты жил, чтоб его разгадать! Двадцать семь лет политического самообразования, книги, брошюры, партийная перебранка, холодное неудачное наблюдение первой революции, для всех в Интернационале — нарушитель порядка, зарвавшийся сектант, слабая малая тающая группка, называемая партией, — а ты ждал, сам не зная, вот этого момента, и момент пришёл! Крутится тяжёлое разгонистое колесо — как красное колесо паровоза, — и надо не потерять его могучего кручения. Еще ни разу не стоявший перед толпой, еще ни разу не показавший рукой движения массам — какими ремнями от этого колеса, от своего крутящегося сердца, их всех завертеть, но — не как увлекает их сейчас, а — в обратную сторону?

<...>

В газетах не было особенно радостно: и о галицийской битве и о Восточной Пруссии писалось уклончиво, значит, русские были не без успеха. Но — бои во Франции! но — война в Сербии! — кто это мог мечтать из прежнего поколения социалистов?

А — растеряются. Выше «мира! мира!» не поднимутся. Кто не «защитники отечества», те в лучшем случае будут вякать и твякать «прекратить войну!»

Как будто это возможно. Как будто кому-то посильно — схватиться руками за разогнанное паровозное колесо.

Помойные слюнявые социалистики с мелкобуржуазной червоточинкой, чтобы захватить массы, станут болтать *за мир* и даже *против аннексий*. И всем покажется, что это натурально: против войны — так значит «за мир»?.. По ним-то первым и придётся ударить.

Кто из них имеет зрение увидеть, имеет волю переступить в это великое решение: *не останавливать* войну — но *разгонять* ее! но — переносить ее! — *в свою собственную страну!*

Не будем прямо говорить «мы за войну» — но мы за нее.

Тупоумный предательский лозунг «мира»! Для чего же пустышка никому не нужного «мира», если не превращать его тотчас в гражданскую войну и притом беспощадную?! Да как *предателя* надо клеймить всякого, кто *не* выступит за гражданскую войну!

Самое главное — трезво схватить расстановку сил, трезво понять — *кто* теперь *кому* союзник? Не с поповской глупостью вздывать рукава между фронтов. Но увидеть в Германии с самого начала — не равно-империалистическую страну, а — могучего союзника. Чтобы делать революцию, нужны ружья, нужны полки, нужны деньги, и надо искать, кто заинтересован дать их нам? И надо искать пути переговоров, тайно удостовериться: если в России возникнут трудности и она станет просить о мире — есть ли гарантия, что Германия не пойдёт на переговоры, не покинет русских революционеров на произвол судьбы?

Германия! Что за сила! Какое оружие! И какая решительность — решительность удара через Бельгию! Не опасаются, кто и как заскулит. Только так и бить, если начал бить! И решительность комендантских приказов — вот уж, не пахнет русской размазнёй. (И даже та решительность, с какой хватают и кидают в камеру Нового Тарга. Тем более — с которой освобождают же.)

Германия — безусловно выиграет эту войну. Итак — она лучший и естественный союзник против царя.

А-а, попался хищный стервятник с герба! — схвачена лапа, не выдернешь! Сам ты выбрал эту войну! Об-кор-нать теперь тебя — до Киева! до Харькова! до Риги! Вышибить дух великодержавный, чтоб ты подох! Только и способен давить других, ни на что больше! Ампутировать Россию кругом. Польше, Финляндии — отделе-

ние! Прибалтийскому краю — отделение! Украине — отделение! Кавказу отделение! Чтоб ты подох!

<...>

Просветлялась в динамичном уме радостная догадка — из самых сильных, стремительных и безошибочных решений за всю жизнь! Воспаряется типографский запах от газетных страниц, воспаряется кровавой и лекарственный запах от площади — и как с орлиного полёта вдруг услеживаешь эту маленькую единственную золотистую ящерку истины, и заколачивается сердце, и орлино рухаешься за ней, выхватываешь её за дрожащий хвост у последней каменной щели — и назад, и назад, назад и вверх разворачиваешь её как ленту, как полотнище с лозунгом: ...ПРЕВРАТИТЬ В ГРАЖДАНСКУЮ!.. — и на этой войне, и на этой войне — погибнут все правительства Европы!!!

Он стоял у парапета, возвышенный над площадью, с поднятою рукою — как уже место для речи заняв, да не решаясь её начать.

Ежедневно, ежечасно, в каждом месте — гневно, бескомпромиссно *протестовать* против этой войны! Но! — (имманентная диалектика) желать ей — продолжаться! помогать ей — не прекращаться! затягиваться и *превращаться!* *Такую* войну — не сротозейничать, не пропустить!

Это — подарок истории, такая война!

